

Рожденная в ночи. Зов предков

Большинство произведений Джека Лондона, собранных в этом томе, написаны на реальной основе. Однако не только фактическая достоверность делает их интересными читателю, но и некая духовная аура, которая порождает необычно тесную связь между жизнью и ее художественной интерпретацией.

ДЖЕК ЛОНДОН

РОЖДЕННАЯ В НОЧИ

*

ЗОВ ПРЕДКОВ



Джек Лондон

**Рожденная в ночи. Зов предков.
Рассказы**

Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»
2011

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное
оформление, 2008, 2011

ISBN 978-966-14-2544-5 (epub)

Никакая часть данного издания не может быть
скопирована или воспроизведена в любой форме
без письменного разрешения издательства

Электронная версия создана по изданию:

Л76 **Лондон Дж.** Собр. соч. [Текст] / научн. ред. и коммент. канд. филол. наук доцента А. М. Гуторова ; худож. А. Печенежский. — Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга» ; Белгород : ООО «Книжный клуб “Клуб семейного досуга”», 2008.

Т. 8 : Рассказы и повесть. — 416 с. : ил. — Содерж.: Рожденная в ночи : рассказы ; Зов предков : повесть ; Рассказы.

ISBN 978-966-343-995-2 (Украина, т. 8).

ISBN 978-966-343-752-1.

ISBN 978-5-9910-0461-9 (Россия, т. 8).

ISBN 978-5-9910-0170-0.

Большинство произведений Джека Лондона, собранных в этом томе, написаны на реальной основе. Однако не только фактическая достоверность делает их интересными читателю, но и некая духовная аура, которая порождает необычно тесную связь между жизнью и ее художественной интерпретацией.

Більшість творів Джека Лондона, зібраних у цьому томі, написані за реальними подіями. Однак не тільки фактична достовірність робить їх цікавими читачеві, але й певна духовна аура, котра породжує незвичайно тісний зв'язок між життям та його художньою інтерпретацією.

ББК 84.7США

Рожденная в ночи

Рожденная в ночи

Все это происходило в Сан-Франциско, в старом клубе Алта-Иньо в один теплый летний вечер. В открытые окна доносился далекий, неясный шум уличного движения. Разговор присутствующих перескакивал с одной темы на другую: говорили и о борьбе со взяточничеством, и об очевидных признаках грозящего городу наводнения преступниками, и, наконец, об испорченности и низости людской, пока кто-то не произнес вскользь имя О'Брайена, подававшего большие надежды молодого боксера, убитого накануне на ринге. В воздухе сразу повеяло чем-то освежающим. О'Брайен был юноша-идеалист. Он не пил, не курил, не сквернословил и был прекрасен, как молодой бог. Он не расставался с молитвенником даже во время борьбы. Этот молитвенник был найден в кармане его пальто уже после...

Это была сама юность, чистая, здоровая, ничем не запятнанная, предмет восхищения и удивления людей, утративших свежесть души и тела. Эта тема так увлекала нас в мир романтики, что мы прекратили разговоры о шумном городе и его делах. Дальнейший ход беседы изменил Бардуэл, который процитировал выдержку из поэзии Торо[1]. Цитату подхватил лысый обрюзгший Трифден, не умолкавший целый час. Вначале мы думали, что в нем говорит не в меру выпитый за обедом виски, но позже совершенно забыли об этом.

— Это произошло в тысяча восемьсот девяносто восьмом году, когда мне было только тридцать пять лет, — сказал он. — Ага, я вижу, вы в уме вычисляете... Да, правда, мне теперь сорок семь, но я выгляжу старше. А доктора говорят... да ну их к черту!

Он медленно стал отпивать из стакана, чтобы немного успокоиться.

— Да, в то время я был молод. Двенадцать лет тому назад у меня еще были волосы на голове, а живот был, как у скорохода. Я не знал тогда усталости. Самый долгий день был для меня коротким. Вы

помните, Мильнер? Мы ведь с вами тогда уже были знакомы. Правду я говорю?

Мильнер кивнул в знак согласия. Он, как и Трифден, был горным инженером и так же, как тот, сколотил себе порядочное состояние в Клондайке.

— Правда твоя, старина, — сказал Мильнер. — Я никогда не забуду, как ты ловко справился с лесопильщиками компании «М. и М.» в тот вечер, когда какой-то мелкий газетчик затеял скандал. Надо вам сказать, — обратился он к нам, — что Слэвин в это время находился в деревне и его управляющий натравил своих людей на Трифдена.

— Вот полюбуйтесь, что со мной сделала золотая горячка, — с горечью продолжал Трифден. — Богу известно, сколько я спустил миллионов, а душа опустела совсем, и крови в жилах почти не осталось. Горячая алая кровь исчезла. Я теперь медуза — огромная колышающаяся масса грубой протоплазмы, я...

Он запнулся и отхлебнул из стакана.

— Женщины заглядывались на меня в ту пору и оборачивались, чтобы еще раз взглянуть на меня. Странно, что я не женился. Но это из-за девушки... вот о ней-то я и хочу вам рассказать! Я встретил ее больше чем за тысячу миль от человеческого жилья. И она-то процитировала мне то самое место из Торо, которое только что привел Бардуэл: о богах, рожденных ночью, и богах, рожденных днем.

Это было после того, как я сделал заявку на разработку на реке Гольстед, не подозревая даже, какие там таятся сокровища. Я направлялся на восток через Скалистые Горы к Большому Невольничьему озеру. К северу Скалистые Горы переходят в неприступную твердыню, через которую нет прохода. Только бродячие охотники отваживались на этот подвиг, но не многим удавалось благополучно пройти, а большинство погибало в пути. Успешным переходом этого места можно было тогда прославиться. Я и теперь еще горжусь этим больше, чем всем другим, сделанным в жизни.

Это совершенно неизвестная страна. Громадные пространства ее не были еще исследованы. Там были большие долины, куда не ступала нога белого человека, и индейские племена, живущие первобытно, почти как десять тысяч лет тому назад, — почти, потому что они имели кое-какие дела с белыми. Некоторые племена вступали иногда в

торговые сношения с ними. Но даже Компания Гудзонова залива не смогла их разыскать и наладить контакт.

А теперь о девушке. Я поднимался по течению ручья — вы это в Калифорнии называете рекой, — ручья, нигде не обозначенного и безымянного. Это была прекрасная долина, проходившая то между отвесными, высокими стенами ущелья, то расстилавшаяся вширь и вдаль. В глубине ее росла высокая, по плечи, трава, тянулись луга, усеянные цветами, высились кроны великолепных девственных сосен. Собаки, с навьюченным на спинах багажом, с израненными ногами, совершенно выбились из сил. Я же все время был поглощен поисками какой-нибудь стоянки индейцев, у которых можно было бы добыть нарты и погонщиков, чтобы продолжать путь с первым снегом.

Хотя в то время стояла уже поздняя осень, к величайшему моему изумлению, пышно цвели цветы. По моим предположениям, я был высоко в Скалистых Горах, в далекой субарктической Америке, а между тем передо мной расстилались целые цветочные ковры. Когда-нибудь белые поселенцы появятся в тех местах и будут сеять там пшеницу.

Наконец я увидел дымок и услышал лай собак — индейских собак — и направился к становищу. Тут находилось, по меньшей мере, пятьсот индейцев, и по количеству шестов, на которых коптилась дичь, было видно, что осенняя охота была удачной. И здесь-то я встретил ее — Люси. Это ее имя. Мы объяснялись с индейцами жестами — это был единственный способ беседы между нами, — пока они не привели меня к большому шатру, напоминавшему палатку и открытому с той стороны, где горел бивуачный костер. Шатер был весь из прокуренных, темно-золотистых шкур американского оленя. Внутри было чисто и опрятно, чего никогда не бывает у индейцев. Постель была постлана на свежих еловых ветвях. На них лежали груды мехов, а поверх всего одеяло из лебяжьего пуха. На нем сидела, скрестив ноги, Люси. Вся она была светло-коричневая. Я назвал ее девушкой. Нет, это неверно. Это была смуглая женщина-амазонка — полная, царственно зрелая. Глаза у нее были голубые.

Эти-то глаза сразу меня и поразили. Они были голубые, но не цвета китайской лазури, а темно-голубые, как смешанный цвет неба и моря, и притом очень умные. Кроме того, в них сверкал смех — теплый солнечный смех и вместе с тем в них было что-то очень человеческое,

и... это были глаза настоящей женщины. Вам это понятно? Что еще сказать вам? В этих голубых глазах отражались одновременно беспокойство, неугомонный порыв и абсолютная невозмутимость, нечто вроде мудрого философского спокойствия.

Трифден вдруг умолк.

— Мне кажется, друзья, вы думаете, что я не совсем трезв. Но это не так. С обеда я пью всего пятый стакан. Я не только чертовски трезв, а даже торжественно настроен. Я сижу сейчас рядом со своей священной юностью. С вами говорит не «старый Трифден», а моя юность, и моя юность говорит вам, что это были удивительнейшие глаза — невозмутимые и спокойные, мудрые и пытливые, зрелые и молодые, удовлетворенные и жаждущие чего-то. Нет, друзья, я не в силах описать их. Вы сами все поймете по моим рассказам!

Она не двинулась с места, но протянула мне руку.

«Добро пожаловать, незнакомец, очень вам рада!»

Вы представляете себе этот резкий звук западного говора? Вообразите мои ощущения! Это была женщина, белая женщина, и с таким говором! Было что-то невероятное в том, чтобы белая женщина находилась здесь, на краю света, а тут еще этот говор! Меня он кольнул, как грубый диссонанс. А между тем, смею вас уверить, что эта женщина была натурой поэтической, — вы в этом убедитесь позже.

Она приказала индейцам удалиться, и, клянусь Юпитером, они ей беспрекословно повиновались. Они слушались ее приказаний и слепо подчинялись ей. Она была их вождем, их hi-yu-skookum. Она приказала мужчинам устроить меня и позаботиться о моих собаках. И они это исполнили и не взяли себе из моих вещей ничего, даже шнурка от моих мокасин. Это была именно Та-Которой-Надлежало-Повиноваться. Сказать вам по правде, мне стало жутко, и холодные струйки пробежали по моей спине при одной мысли о том, что за тысячи миль от цивилизованного мира белая женщина стоит во главе племени дикарей.

«Незнакомец, — сказала она, — по-моему, вы первый белый, чья нога ступила в эту долину. Садитесь, мы побеседуем, а потом чего-нибудь поедим. Откуда вы пришли?»

И опять меня покорило ее говор. Но лучше забудем об этом на все время моего рассказа. Уверяю вас, я и сам забыл о нем, сидя на уголке лебяжьего одеяла, слушая эту единственную в своем роде женщину,

словно сошедшую с описываемых поэтом Торо или кем-нибудь другим страниц.

Я оставался там целую неделю. Она сама пригласила меня остаться. Она обещала снабдить меня нартами и собаками и дать в провозатые индейцев, с которыми я пройду самым удобным путем Скалистые Горы. Ее палатка стояла на отлете, особняком от прочих, на высоком берегу реки. Несколько индейских девушек стряпали для нее и выполняли домашнюю работу. А мы беседовали, беседовали, пока пошел первый снег, и он падал до тех пор, пока не установился удобный санный путь.

Люси родилась в семье пограничных жителей, бедных поселенцев, а вы представляете себе, что это значит: работа и работа — вечная работа, работа, которой нет конца. Вот что рассказала она мне:

«Мне незнакома радость бытия. У меня для этого не было времени. Я знала, что вне нашего жилища везде очень хорошо, но воспользоваться этим благом мешали дела вроде печения хлеба, уборки и всякой работы, которую никогда всю не переделаешь. Иногда я испытывала душевную боль от жадного желания увидеть простор, особенно весной, когда птицы пели свои весенние песни. У меня появлялось желание побежать по высокой росистой траве, промочить ноги, прыгать через изгородь и ходить по лесу далеко-далеко, до самого перевала, чтобы окинуть взглядом весь мир! Мне хотелось бродить по каньонам, перекачиваться из пруда в пруд, подружиться с выдрами и пятнистыми форелями; подкрасться и исподтишка наблюдать белок, кроликов и мелких птишек, разузнать все их маленькие дела и тайны. Мне казалось, что, будь у меня время, я подползла бы к цветам и подслушала их перешептывание — то, как они делятся друг с другом умными и добрыми мыслями, которые людям совсем не знакомы».

Трифден остановился и молчал, пока ему не наполнили стакана.

— В другой раз она сказала:

«У меня возникло желание обнаженной бегать по ночам, при лунном свете, под звездами, погружаться в прохладный бархат мрака и так бежать без конца. Однажды вечером, после очень неудачного дня — тесто не всходило, масло не сбивалось, — я окончательно выбилась из сил. И я призналась отцу в моем желании убежать. Он с любопытством и некоторым опасением взглянул на меня и дал мне две

пилюли, которые я проглотила. Он велел мне лечь в постель, постараться выспаться и уверял, что к утру вся дурь у меня пройдет. С тех пор я ему больше ни в чем не признавалась».

Хозяйство их пришло в полный упадок — думаю, голод был тому причиной, — и они переселились на жительство в Сиэтл. Тут она поступила на фабрику, где, как вам известно, рабочий день очень утомителен и тянется без конца. А еще через год она поступила на службу в дешевый ресторан — харчевню, как она его называла, — в качестве официантки.

«Мне кажется, — сказала она мне однажды, — меня сильно влекло к романтике. Но где же взяться романтике среди кухонной утвари, на фабрике и в харчевне?»

Когда ей минуло восемнадцать лет, она вышла замуж за человека, который собирался открыть ресторан в Джуно. Он успел скопить немного долларов, его считали зажиточным. Она его не любила — на этот счет у нее не было никаких сомнений. Но ее утомила каторжная жизнь, от которой она хотела уйти во что бы то ни стало. Кроме того, Джуно находился на Аляске, и что-то влекло ее в этот край чудес. Но она мало видела его. Муж открыл ресторан, очень дешевый, и вскоре она убедилась, что он женился на ней, чтобы иметь даровую прислугу. В конце концов на нее свалилась вся работа, начиная с прислуживания посетителям и кончая мытьем посуды; кроме того, ей же приходилось и стирать. Все это тянулось целых четыре года!

Вы только представьте себе это дикое лесное существо с первобытными инстинктами, жаждущее свободы, втиснутым в грязную маленькую харчевню и обреченным нести каторгу целых четыре года!

«Все это было так бессмысленно, — говорила она. — К чему все это? Зачем я родилась? Неужели весь смысл существования заключается в том, чтобы без конца работать и вечно быть усталой? Ложиться спать усталой, вставать усталой... И так изо дня в день, без всякой надежды на лучшее, а скорее ожидая худшего».

Она слышала от церковных мошенников о бессмертии, но сильно сомневалась в том, чтобы ее настоящая жизнь вела ее к бессмертию.

Между тем мечты о другой жизни не оставляли ее, хотя посещали реже прежнего. Она прочла несколько книг, вероятно, из серии «Дорожная Библиотека», и даже они давали пищу ее фантазии.

«Иногда, когда я чувствовала себя одуревшей от кухонного чада и мне казалось, что я упаду в обморок, если не глотну свежего воздуха, я высовывалась из кухонного окна, закрывала глаза, и мне мерещились чудесные вещи. Мне, например, казалось, что я иду по дороге, кругом тишь и чистота — ни пыли, ни грязи. По мягким лугам текут ручейки, барашки играют, ветер разносит аромат цветов, и все это залито солнечным светом. Коровы лениво бродят по лугам, по колено в воде; в реке купаются молодые стройные девушки, такие беленькие, хорошенькие, — мне казалось, что я в Аркадии. Я читала когда-то об этой стране в одной книге. А вдруг, думала я, на повороте покажется рыцарь в сверкающих на солнце доспехах или дама на белоснежной лошади, а издали замаячат башни замка. То мне вдруг казалось, что за следующим поворотом дороги я увижу воздушный белый волшебный дворец с бьющими в садах фонтанами, с павлинами на лужайках... А потом я открывала глаза, — и кухонный чад обдавал мне лицо, и я слышала голос Джека, моего мужа: «Почему ты не подаешь бобов? Что же, дожидаться весь день?..» Романтика! По-моему, я ближе всего была к ней тогда, когда напившийся водки повар-армянин чуть не перерезал мне горло ножом для чистки картофеля и я обожгла себе руку о горячую плиту, отбиваясь от него тяжелой ступкой.

Я мечтала о приятной жизни, красивых вещах, о романтике и прочем. Но мне не везло — я, видно, родилась на свет, чтобы бытьстряпухой и посудомойкой. Это было время бурной и разгульной жизни в Джуно; я видела, как жили другие женщины, но меня это не соблазняло. Мне кажется, я хотела остаться честной, не знаю почему, но это так. А в сущности не все ли равно, как умереть — за мытьем ли посуды или так, как умирали эти женщины?..»

Трифден прервал свое повествование, словно для того, чтобы собраться с мыслями.

— И эту женщину я встретил в полярных краях: она была вождем племени диких индейцев и владела охотничьей территорией в несколько тысяч квадратных миль! И случилось это так просто, хотя ей как будто суждено было закончить жизнь среди горшков и кастрюль. Но «пришло дуновение, и явилось видение». Это все, чего она желала, — и она достигла этого... «Наступил день моего пробуждения, — рассказывала она. — Я наткнулась на обрывок газеты

со словами, которые до сих пор помню», — и она процитировала строки из произведения Торо «Вопль человека»:

— «Молодые сосны, вырастающие на хлебных полях из года в год, — явление для меня очень отрадное. Мы много говорили о цивилизации индейцев, но вряд ли это благо для них. Благодаря своей независимости и уединению, жизни в лесу индеец как бы поддерживает связь со своими богами — и время от времени в общении с природой. Ему близки звезды, а в наших «салунах» не может сформироваться человек. Свет его гения кажется тусклым из-за расстояния, как прекрасное отдаленное сверкание звезд при ярком, но недолговечном пламени свечи. Уроженцы островов Товарищества имеют богов, рожденных днем, но они не считались такими же древними, как боги, рожденные в ночи...»

— Все это она повторила слово в слово, и я забыл ее неприятный говор, потому что это звучало торжественно — это было исповедание веры, пожалуй, языческой, но облеченной в живописную форму.

«Это все, — остальное было оторвано, — сказала она тихо. — Ведь это был только клочок газеты! Но этот Торо мудрый человек. Мне хотелось бы больше знать о нем».

Она с минуту помолчала, а потом — с проникновенным лицом, в чем я готов поклясться, — прибавила: «Я была бы ему хорошей женой!»

И она продолжала:

«Вот тут я все разгадала! Я — рожденная в ночи! Да, я, всю жизнь прожившая с рожденными днем, рождена в ночи. Вот почему меня всегда тяготила простая домашняя работа, почему меня тянуло бегать обнаженной при лунном свете. Мне стало понятно, что мне не место в этой грязной маленькой харчевне в Джуно. И я твердо решила уйти. Я немедленно запаковала свой немногочисленный скарб и собралась. Джек пытался меня удержать:

— Что ты делаешь? — спросил он меня.

— Я покидаю тебя и ухожу в лес, где моя родина, — ответила я.

— Нет, ты не уйдешь, — и он схватил меня, чтобы удержать. — Я знаю, тебе опротивела стряпня, но прежде чем уйти, ты должна меня выслушать.

Я показала ему револьвер Кольта, калибра 44:

— Вот тебе мой ответ! — И я ушла...»

Трифден опорожнил свой стакан и заказал новый.

— Знаете ли вы, что сделала эта девушка? Ведь ей было двадцать два года! Она всю жизнь провела среди кастрюль, и мир ей был так же мало известен, как мне четвертое или пятое измерение. Ей были открыты все пути, однако ее не потянуло в кафе-шантан. Она прямо направилась к берегу реки, так как знала, что на Аляске лучше всего путешествовать по воде. В это время как раз отплывала в Дайю индейская пирога — это, как вам известно, лодка, выдолбленная из цельного ствола, узкая и глубокая, длиной в шестьдесят футов. Она заплатила индейцам пару долларов, и ее взяли в пирогу.

«Я жаждала романтики, — сказала она мне. — И романтика началась с первой же минуты. В лодке помещалось три семейства, и она была так переполнена, что невозможно было повернуться. Всюду вертелись собаки и дети, у всех были весла, и все гребли. Нас окружали величественные горы, над нами клубились облака, и над всем этим разливалось солнечное сияние. А это безмолвие, великое чудесное безмолвие! Вдали изредка показывался над деревьями дымок охотничьего привала. Это было не путешествие, а настоящий пикник — грандиозный пикник, и мне казалось, что мои мечты уже сбываются, я ждала еще чего-то. И это случилось...

А первый привал на острове! Мальчишки занялись рыбной ловлей в бухте, а взрослые охотились на ланей. Все было усыпано цветами, а дальше от берега трава — густая, сочная, высотой по самые плечи. Несколько девушек пошли вместе со мной бродить, мы взбирались на холмы, собирали ягоды и вкусные кисловатые корни. В одном месте мы набрали на большого медведя, который ужинал ягодами. Он прорычал «уфф!» и убежал, испуганный не меньше нас. А потом этот бивуак, бивуачный дым, запах жарящейся свежей дичи! Как дивно хорошо это было! Наконец-то я была с рожденными в ночи и чувствовала, что мое место рядом с ними. Когда я ложилась спать, укрывшись холщовым одеялом, из-под отвернутого уголка которого я любовалась звездами, сверкавшими за темными выступами горы, прислушивалась к ночным шумам, я впервые в моей жизни почувствовала себя счастливой и знала, что так будет и завтра, и дальше, и всегда..., ибо я решила не возвращаться. И я не вернулась.

Романтика! Я испытала ее на следующий день. Нам предстояло переплыть большой рукав океана шириной приблизительно от

двенадцати до пятнадцати миль. На середине нашего пути подул сильный ветер ... В эту ночь меня выбросило на берег, где я очутилась одна, в обществе волкодава, единственная из всех оставшаяся в живых...»

— Представьте себе! — прервал свое повествование Трифден. — Лодка разбилась и потонула, все находившиеся в ней разбились о скалы. Одна Люси достигла берега, уцепившись за хвост собаки, благополучно миновала подводные камни и очутилась на крохотном песчаном взморье, единственном на протяжении многих сотен миль.

«К счастью, это был материк, — продолжала она. — Я пошла вглубь через леса и горы, куда глаза глядят, точно предчувствуя, что найду свое! Я не испытывала страха. Ведь я — рожденная в ночи, и лес не мог меня убить. На другой день я нашла: на небольшой прогалине стояла полуразвалившаяся хижина. Видно было, что она необитаема уже много лет. Крыша провалилась. В ящиках лежали сгнившие одеяла; на очаге стояли кастрюли и сковороды. Но самое интересное было впереди. Вы не можете себе представить, на что я набрела на опушке леса! Там оказалось восемь скелетов лошадей когда-то привязанных к деревьям! Они, по всей вероятности, умерли с голоду, оставив после себя разбросанные кучи костей. У каждой лошади на спине была поклажа. Среди костей валялись холщовые мешки, в этих мешках были еще мешки из кожи мускусного быка, а внутри этих — как бы вы думали, что?»

Она остановилась, протянула руку к углу постели и из груды еловых ветвей вытащила кожаный мешок. Она развязала его, и в мои руки полился целый поток золота, какого я никогда до того не видел, крупнозернистого, самородного золота, в песчинках и слитках, чистого, почти без следов промывки!

«Ведь вы горный инженер, — сказала она, — и вам знакомы здешние места. Не знаете ли вы, как называется тот ручей, где добывается такое золото?»

Но я не мог назвать ручья. Золото было чистое, без всякой примеси серебра. Я ей это сказал.

«Неужели? — воскликнула она. — Я продаю его по девятнадцати долларов за унцию. Золото Эльдорадо нельзя сбывать дороже семнадцати долларов за унцию, а минукское идет по семнадцати с чем-то.

Итак, среди лошадиных скелетов я нашла восемь лошадиных вьюков, по сто пятьдесят фунтов в каждом».

— Четверть миллиона долларов! — воскликнул я.

«Я приблизительно так и рассчитала, — проговорила она. — Толкуйте теперь о романтике! Сколько лет была закабалена работой, но стоило мне стряхнуть с себя рабство и уйти, как через три дня вот что случилось! Что произошло с людьми, которые добыли все это золото? Я очень часто об этом думаю, они оставили своих навьюченных лошадей, привязав их на время, а сами бесследно исчезли с лица земли. Никто о них ни разу не вспомнил. Никому не известна их участь. Как рожденная в ночи, я считала себя их наследницей».

Трифден помолчал, закуривая сигару.

— Знаете, что сделала эта женщина? Она спрятала все золото, кроме тридцати фунтов, с которыми направилась на берег. Мимо проплывала пирога, она подала ей сигнал. Эта пирога доставила ее на торговый пост Пэта Хили в Дайе; там она накупила разного снаряжения и переправилась через Чилкутский перевал. Это было в тысяча восемьсот восемьдесят восьмом году, за восемь лет до открытия Клондайкских золотых россыпей, когда пространство вдоль реки Юкон еще представляло собой дикую пустыню. Она боялась мужчин-индейцев, но взяла с собой двух скво — молодых индейских женщин, переплыла с ними озеро и спустилась вниз по реке. Там она присоединилась к первым бивуакам, на нижнем Юконе. Несколько лет странствовала она по этим местам, а затем пробралась туда, где я ее встретил. Здесь ей понравилось, по ее собственному выражению, «следить за огромным самцом-оленом, стоящим в долине по колена в радужных цветах». Она осталась жить с индейцами, лечила их, завоевала их доверие и постепенно приобрела над ними власть. Она только один раз покинула этот рай, когда с группой молодых индейцев перевалила Чилкут, вырыла свое спрятанное золото и привезла его сюда.

«Вот здесь я живу, незнакомец, — закончила она свое повествование. — А вот то, чем я дорожу больше всего на свете».

Она выдернула маленькую кожаную сумочку, висевшую у нее на шее вместо медальона, и открыла ее. Внутри, завернутый в пропитанный маслом шелк, пожелтевший от времени, замусоленный и

истертый, лежал тот самый обрывок газеты, где напечатана была выдержка из Торо.

— И вы счастливы? Довольны? — спросил я ее. — В Штатах с вашей четвертью миллиона долларов вам не нужно было бы работать. Вам ведь, наверное, здесь многого не хватает!

«Не так уж много, — ответила она. — Я никогда не променяла бы свою жизнь на жизнь женщины в Штатах. Я живу среди своего народа, к которому привязана всей душой. Но бывают минуты, — и в ее глазах зажегся голодный огонек, о котором я уже упоминал, — когда я призываю на голову Торо всякие беды!»

— За что? — спросил я.

«За то, что не могу выйти за него замуж. По временам я чувствую себя страшно одинокой. Я ведь женщина, самая настоящая женщина. Я слыхала о женщинах, которые искали для себя новые пути, как и я, и немало чудили: поступали в армию солдатами и матросами на корабли. Но это же просто взбалмошные бабы. Это скорее мужчины, чем женщины, они и похожи больше на мужчин, и у них нет обычных женских желаний. Они не мечтают о любви, не желают иметь детей, прижимать их к сердцу и сажать их к себе на колени. Я совсем иного склада. Отдаюсь на ваш суд, незнакомец: похожа ли я на мужчину?»

Нет, она не была похожа на мужчину. Она была настоящая женщина — прекрасная смуглая женщина, с пышным, здоровым, крепким телом и прекрасными темно-голубыми глазами.

«Разве я не женщина? — спрашивала она. — Нет, я само воплощение женщины. Курьезнее всего то, что хотя я во всех отношениях рожденная в ночи, в супружестве мне как-то не везет. Я думаю, что такого рода люди ищут себе подобных. Так по крайней мере происходит со мной во все эти годы».

— Вы хотите сказать?.. — начал я.

«Никогда, — сказала она, взглянув на меня своими правдивыми глазами. — У меня был всего один муж — я его называла Волон. Полагаю, он до сих пор живет в Джуно и хозяйничает в своей харчевне. Если вам случится там побывать, найдите его и тогда вы увидите, что это прозвище подходит ему».

И я таки разыскал его — через два года. Он вполне соответствовал данному ему описанию. Это был коренастый тупой вол. Он шнырял между столиками своей харчевни, прислуживая посетителям.

— Вам нужно бы помощницу, жену, — сказал я ему.

— У меня была жена.

— Вы овдовели?

— Она бросила меня. Она все жаловалась на кухонный жар — и он таки довел ее до безумия. В один прекрасный день она направила на меня револьвер и убежала с несколькими сивашами-индейцами в пироге. Они потом все утонули у самого берега.

Трифден занялся своим стаканом и умолк.

— Ну, и что же с женщиной? — напомнил ему Мильнер. — Вы остановились как раз на самом интересном месте, когда дело дошло до нежностей.

— Так оно и есть, — ответил Трифден. — Как она сама говорила, она во всех отношениях была дикаркой, кроме того, что касалось брака: мужем она хотела иметь человека своей расы. Она очень деликатно, но прямо приступила к делу. Она предложила мне себя в жены.

«Незнакомец, вы мне очень нужны, — сказала она. — Я вижу, что вам нравится здешняя жизнь, иначе вы не были бы у нас и не стремились бы перейти через Скалистые Горы сырой осенью. Это чудесный уголок, лучше его не найти. Почему бы вам не поселиться здесь? Я была бы хорошей женой».

Я почувствовал себя припертым к стене. А она ждала! Должен сознаться, что соблазн был велик. Я почти влюбился в нее. Вы знаете, что я никогда не был женат. Оглядываясь на прошлое, я теперь могу откровенно признаться, что это была единственная женщина, которая произвела на меня сильное впечатление. Но ее предложение меня огорошило, и я солгал — по-джентльменски: я сказал ей, что женат.

— Жена ждет тебя? — спросила она.

— Да.

— Она тебя любит?

— Да.

Это был конец.

Она больше не касалась этой темы... только один раз показав, что и в ней есть огонь.

«Мне стоит произнести одно слово, и ты останешься со мной и никуда не уйдешь отсюда... Но я не произнесу его. Я не хочу тебя, если сам ты не хочешь быть желанным и не желаешь меня».

Она вышла и распорядилась, чтобы меня снарядили в дорогу.

«Мне стыдно сознаться, чужестранец, — сказала она на прощание. — Ты мне нравишься, я полюбила тебя. Если ты когда-нибудь одумаешься — возвращайся».

У меня в ту минуту было одно сильное желание: мне хотелось поцеловать ее на прощание. Но я не знал, как высказать это и как она это примет. Но она сама пришла мне на помощь.

«Поцелуй меня, — сказала она, — это все, что у меня останется на память о тебе».

И мы поцеловались на снегу, в долине у Скалистых Гор. Я покинул ее тут же и последовал за своими собаками. Целые шесть недель ушло на путешествие через перевал, и, наконец, я спустился к первому посту Невольничьего озера...

Уличный гул доносился к нам, как отдаленный прибой. Слуга бесшумно вошел и принес новые сифоны, и в наступившей тишине голос Трифдена прозвучал, как погребальный звон.

— Для меня было бы лучше остаться!.. Посмотрите на меня!

Мы взглянули на его седеющие усы, на его лысину, на мешки под глазами, отвислые щеки, отяжелевший подбородок. Опустившийся, усталый, совершенная развалина — этот когда-то крепкий и сильный мужчина, которого убила слишком легкая, разгульная жизнь.

— Быть может, еще не поздно, — нерешительно прошептал Бардуэл.

— О Господи, почему я был тогда так малодушен! — воскликнул Трифден. — Я мог еще вернуться к ней. Она и сейчас там. Остаться здесь — это самоубийство. Но я старик, мне сорок семь лет... Беда в том, — сказал он, подняв стакан и глядя на него, — что это очень легкий способ самоубийства. Я — изнеженный, избалованный человек. Мне страшна самая мысль о продолжительной езде на собаках. Страшны утренние морозы, замерзшие ремни саней пугают меня.

Непроизвольно он поднес стакан к губам. Охваченный внезапной яростью, он чуть не разбил его об пол, но словно одумался: стакан поднялся до уровня его губ и замер. Он хрипло, горько засмеялся и вымолвил торжественным голосом:

— Ну, выпьем за Рожденную в Ночи. Она была настоящим чудом!

Безумие Джона Харнеда

— То, что я рассказываю, — факт. Это случилось во время боя быков в Кито. Я сидел в одной ложе с Джоном Харнедом, Марией Валенсуэлой и Луи Сервальосом. Я видел, как это случилось: все происходило на моих глазах — от начала до конца. Я ехал на пароходе «Эквадор» из Панама в Гуаякиль. Мария Валенсуэла — моя кузина. Я ее знаю с детства; она очень хороша собой. Я испанец, из Эквадора, разумеется, но я потомок Педро Патино, одного из капитанов Писарро. Это были храбрые люди. Это были герои! Не Писарро ли повел триста пятьдесят испанских кабальеро и четыре тысячи индейцев в далекие Кордильеры за сокровищами? И не погибли ли все четыре тысячи индейцев и триста храбрейших кабальеро при своей тщетной попытке? Но Педро Патино не погиб. Он остался в живых и стал родоначальником Патино. У меня много поместий-гациенд и десять тысяч индейцев-рабов, хотя по закону они свободные люди и работают по добровольному найму. Забавная штука — эти законы! Мы, эквадорцы, смеемся над ними, над нашими законами, мы сами делаем законы для себя. Я — Мануэль де Хесус Патино. Запомните это имя! Оно будет вписано когда-нибудь в историю! В Эквадоре перевороты случаются часто — мы называем их перевыборами. Славная штука, не правда ли? Не это ли вы называете «игрой слов»?

Джон Харнед был американец. Я встретился с ним впервые в отеле «Тиволи» в Париже. Я слышал, что у него было много денег. Он ехал в Лиму, но в отеле «Тиволи» встретился с Марией Валенсуэлой. Мария Валенсуэла, как я уже говорил, — моя кузина, и она красавица! Воистину, она самая красивая женщина в Эквадоре! Но она первая красавица и в любой стране, в любой столице — в Париже, в Мадриде, в Нью-Йорке, в Вене. Мужчины везде заглядывались на нее, и Джон Харнед тоже не сводил с нее глаз в Панаме. Он влюбился в нее, это я знаю наверное. Она эквадорка, правда, но она — гражданка всех стран, всего света! Она владела многими языками. Пела она, как настоящая артистка! Улыбка у нее была восхитительная, божественная! Ее глаза... — я видел, как мужчины заглядывались на ее глаза! Это были,

как вы, англичане, называете, изумительные глаза: они сулили райское блаженство. Мужчины безвозвратно тонули в этих глазах.

Мария Валенсуэла была богата, богаче меня, хотя я считаюсь в Эквадоре очень богатым человеком. Но Джон Харнед не думал о деньгах. У него было сердце — глупое сердце! Глупец, он не поехал в Лиму; он оставил пароход в Гуаякиле и поехал за ней в Кито! Она возвращалась домой из Европы. Не знаю, что она нашла в Джоне, но она полюбила его. Это факт, иначе он не поехал бы за ней в Кито: она сама пригласила его с собой! Я хорошо помню, как это было. Она сказала:

— Едемте в Кито, я покажу вам бой быков — бесстрашный, ловкий, великолепный!

— Но я еду в Лимо, а не в Кито, — ответил он, — у меня билет до Лимы.

— Разве вы путешествуете не для своего удовольствия? — спросила Мария Валенсуэла и посмотрела на него так, как только она умела смотреть; в ее глазах затеплилось обещание...

И он поехал: но не ради боя быков, он поехал ради того, что увидел в глазах Марии. Такие женщины, как Мария Валенсуэла, рождаются раз в сто лет. Они вне времени и пространства! Они, как у нас говорится, — всемирны, им принадлежит вселенная. Это богиня, и люди падают ниц к их ногам. Они играют мужчинами и пропускают их между своих прелестных пальчиков, как песок. Говорят, Клеопатра была такой женщиной, и такова была Цирцея. Она превращала людей в свиней. Ха-ха! Очень ловко — не правда ли?

Все это произошло потому, что Мария Валенсуэла произнесла:

— Вы англичане, как бы сказать... дикари, что ли? Вы любите бокс. Двое наносят друг другу удары, пока не ослепнут или не разобьют друг другу носов... Отвратительно! А зрители — они смотрят и гогочут от восторга. Ну, не варварство ли это, скажите по совести?

— Но они — мужчины, — возразил Джон Харнед, — и дерутся по собственному желанию. Никто их не заставляет; они дерутся потому, что им этого хочется больше всего на свете!

Мария Валенсуэла с презрительной улыбкой продолжала:

— И они часто убивают друг друга, не правда ли? Я читала об этом в газетах.

— Ну, а быки? — говорил Джон Харнед. — Быков убивают не раз в течение боя, и бык не по своей охоте выходит на арену. Это нечестно по отношению к быку: его принуждают к бою; человек же — о нет! — его никто не заставляет драться!

— Тем более он животное, — отвечала Мария Валенсуэла, — он дикарь; он первобытен; он зверь! Он дерется лапами, как какой-нибудь пещерный медведь, и он свиреп. Бой же быков — о! — вы не видели боя быков, нет? Тореадор ловок; он должен быть ловок; это — современность; это — романтика! Человек, мягкий и нежный, в бою сталкивается с диким быком! И убивает он шпагой, тонкой и гибкой, одним ударом вонзая ее в сердце огромного животного. Это очаровательно! При взгляде на это зрелище сердце начинает биться усиленно: маленький человек, громадный зверь, песок ровной, широкой арены, тысячи зрителей замерли, затаив дыхание! Громадный зверь бросается в атаку, маленький человек стоит, как изваяние; он не движется; он не боится, а в его руках тонкий меч сверкает, как серебро на солнце; ближе и ближе животное с острыми рогами, человек все недвижим, а затем — вот так! — меч сверкнул, удар нанесен прямо в сердце, по самую рукоятку, бык замертво падает на песок, а человек невредим! Это бесстрашно, это великолепно! Ах! Я могла бы полюбить тореадора! А боксер — да ведь это животное, человек-зверь, первобытный дикарь, маньяк, который получает удар за ударом по своей глупой физиономии и радуется! Едемте в Кито, и я покажу вам настоящий спорт — спорт людей: тореадор против быка!

Но Джон Харнед поехал в Кито не ради боя быков — он поехал ради Марии Валенсуэлы. Это был крупный человек, шире в плечах, чем мы, эквадорцы, высокого роста, крепкого сложения. Собственно, он был крупнее даже многих своих соотечественников. У него были голубые глаза, хотя — я видел — они делались, как холодная сталь. Черты лица у него были крупные, даже слишком, не такие нежные, как у нас, челюсть тяжелая. Лицо он брил, как священник. С чего бы мужчине стыдиться волос на лице? Разве не Бог насадил их там? Да, я верую в Бога! Я не язычник, как многие из вас, англичан. Бог добр, он сотворил меня эквадорцем с девятью тысячами рабов. И когда я умру, я пойду к Богу. Да, священники правы!

Но вернемся к Джону Харнеду. Это был степенный человек! Говорил он всегда тихо и никогда не размахивал руками. Можно было

подумать, что сердце у него изо льда; но, видно, и в его крови была теплая струйка, раз он поехал за Марией Валенсуэлой в Кито. И все же, несмотря на то что он говорил тихим голосом и не размахивал руками, это был зверь, как вы увидите, — первобытное животное, глупый, свирепый дикарь времен, когда человек носил звериные шкуры и жил в пещерах, в соседстве с медведями и волками.

Луис Сервальос — мой друг, лучший из эквадорцев. Ему принадлежат три плантации какао в Наранхито и Чобо. В Милагро у него сахарная плантация. У него большие гациенды в Амбато и Латакунге, и он состоит пайщиком Компании нефтяных приисков побережья. Он просадил также немало денег на разведении каучуковых деревьев. Он современен, как янки, и, как янки, весь в делах. У него много денег, но они в разных предприятиях, и всегда ему нужны деньги для новых дел и для поддержания старых. Он везде побывал и все видел. Молодым человеком он был в американской военной академии, которую вы называете «Вест Пойнт». Там вышло недоразумение, и ему пришлось уйти. Он не любил американцев, но он любил Марию Валенсуэлу, она была его соотечественница. Кроме того, ему нужны были ее деньги для новых дел и для золотых копей в Восточном Эквадоре, на родине раскрашенных индейцев. Я был его другом, и мне хотелось, чтобы он женился на Марии Валенсуэле. К тому же я довольно много денег вложил в его дела, особенно в золотые прииски; они сулили большой барыш, но предварительно надо было вложить туда немало денег. Если бы Луис Сервальос женился на Марии Валенсуэле, я сразу получил бы много денег, вам и не снилось такое количество.

Но Джон Харнед поехал за Марией Валенсуэлой в Кито, — и нам, мне и Луису Сервальосу, скоро стало ясно, что она всерьез увлечена Джоном Харнедом. Говорят, женщина любит настоять на своем, но в этот раз было не так. Мария Валенсуэла не настояла на своем с Джоном Харнедом. Возможно, что все произошло бы совершенно так же, если бы я и Луис Сервальос не сидели в тот день в ложе на бое быков в Кито, но мы там сидели.

И я расскажу вам, что случилось.

Мы сидели вчетвером в одной ложе как гости Луиса Сервальоса. Я сидел скраю, рядом с ложей президента. С другой стороны была ложа генерала Хозе Салазара. С ним были Хоакин Эндара и Урсисино

Кастильо, оба генералы, полковник Хасинто Фьерро и капитан Бальтазар де Эчеверрия. Только при влиятельном положении Луиса Сервальоса можно было получить ложу рядом с президентом! Я знаю, что президент сам выразил дирекции желание, чтобы Луису Сервальосу отдали эту ложу.

Оркестр закончил исполнять национальный эквадорский гимн. Прошла процессия тореадоров. Президент кивнул — начинать. Протрубил рог, и выбежал бык, — вы знаете, как это бывает: злой, ошалелый, с дротиками[2] в плечах, которые жгут, как огонь, он ищет, на кого бы броситься. Тореадоры ждали, спрятавшись за прикрытием. Вот они вбежали, сразу пятеро кападоров[3] с каждой стороны, с широко развевающимися цветными плащами. Бык остановился перед таким множеством врагов, не зная, на кого устремиться. Один из кападоров пошел быку навстречу. Бык разъярился. Передними копытами он взрывал песок на арене, так что пыль поднялась столбом. Потом он ринулся, опустив голову, прямо на кападора.

Первый натиск первого быка всегда интересен! Потом, естественно, все устают, и игра теряет свою остроту. Но эта первая атака первого быка! Джон Харнед не мог скрыть своего возбуждения, он видел это впервые: человека, вооруженного только клочком материи, и быка, мчащегося на него по песку с широко расставленными острыми рогами.

— Смотрите! — воскликнула Валенсуэла. — Разве это не великолепно?

Джон Харнед кивнул, не глядя на нее. Его глаза сверкали и не отрывались от быка. Кападор шагнул в сторону, отмахнувшись плащом от быка и накинув его на плечи.

— Как вы находите? — спросила Мария Валенсуэла. — Не то ли это, что вы называете «настоящим спортом»?

— Именно так, — отвечал Джон Харнед. — Очень ловко устроено, блестящий номер...

В экстазе она хлопала в ладоши. У нее были очень маленькие ручки. Публика хлопала тоже. Бык повернулся и пошел назад. Снова кападор увернулся, накрывшись плащом, и опять публика захлопала. Это повторилось три раза. Кападор был великолепен! Наконец он удалился, и другие кападоры продолжали ту же игру, всаживая быку бандерильи[4] в плечи, по каждую сторону хребта по две сразу. Затем

выступил Ордоньес, главный матадор, с длинной шпагой и в красном плаще. Трубы загудели во всю мочь. Он не так хорош, как Матестини, но все же он прекрасен, — одним ударом воткнул он меч в самое сердце быка, у быка подкосились ноги, он упал и умер. Это был чудесный удар, чистый и верный! Загремели аплодисменты, и многие в восторге бросали шляпы на арену. Мария Валенсуэла рукоплескала, как и все, — и Джон Харнед, холодное сердце которого осталось спокойным при виде этого зрелища, с любопытством посмотрел на нее.

— Вам это нравится? — спросил он.

— Всегда! — ответила она, продолжая хлопать.

— С детских лет, — вмешался Луис Сервальос. — Я помню ее на первом бое быков; ей было четыре года, она сидела с матерью и так же хлопала ручками, как сейчас. Она — настоящая испанка!

— Вы теперь видели, — обратилась Мария Валенсуэла к Джону Харнеду, в то время как к мертвому быку припрягли мулов, чтобы убрать его с арены, — вы видели бой быков, и он вам понравился, не правда ли? Что вы думаете об этом?

— Я думаю, что у быка не было шансов, — отвечал он. — Бык заранее обречен, исход не оставляет сомнений, — еще до выхода быка на арену всем известно, что он погибнет. Для спорта необходимо сомнение в благополучном исходе! И это был глупый бык, никогда не дравшийся с человеком, а на него выпустили пятерых мужчин, не раз дравшихся с быками! Не честнее ли было бы выпустить одного человека на одного быка?

— Или одного человека на пятерых быков, — сказала Мария Валенсуэла, и все мы расхохотались, а громче всех Луи Сервальос.

— Да, — продолжал Джон Харнед, — на пятерых быков; и человека, который, подобно быкам, раньше не бывал на арене, — человека вроде вас, сеньор Сервальос!

— И все же мы, испанцы, любим бой быков, — отозвался Луис Сервальос. (Я готов поклясться, что сам дьявол шепнул ему на ухо поступить так, как он поступил!)

— Вкус к этому нужно выработать в себе, — произнес Джон Харнед. — Вот мы в Чикаго убиваем ежедневно тысячи быков, но никто не платит денег за это зрелище.

— Там бойня, — возразил я, — здесь же... о, это искусство! Тонкое, изящное, редкое!

— Не всегда, — вмешался Луис Сервальос. — Я видел неловких матадоров и должен сказать, что это зрелище не из красивых.

Он вздрогнул, и на лице его появилось то, что вы называете отвращением. Я уверен, что в эту минуту дьявол что-то нашептывал ему и что он играл заранее обдуманную роль!

— Сеньор Харнед, может быть, я прав, — продолжал он. — Возможно, что это и нечестно по отношению к быку. Разве мы все не знаем, что быку не дают воды целые сутки перед боем, и только перед выходом на арену дают пить сколько влезет?

— И он выходит на арену полный воды? — быстро спросил Джон Харнед, и взгляд у него стал серый, острый и холодный.

— Это необходимо для спорта, — объяснил Луис Сервальос. — Что же, вы хотели бы, чтобы бык был полон сил и убил тореадора?

— Мне хотелось бы, чтобы и у быка был шанс, — ответил Джон Харнед, глядя на арену, где появился второй бык.

Это был плохонький, трусливый бык. Он заметался по арене, ища, куда убежать. Кападоры вышли вперед и стали размахивать плащами, но бык уклонялся от нападения.

— Ну и глупый бык! — воскликнула Мария Валенсуэла.

— Простите, — возразил Джон Харнед, — но я нахожу его умным! Он знает, что не должен драться с человеком. Смотрите, он почуял смерть на арене!

И правда, бык, остановившись на том месте, где упал мертвым первый, зафыркал, стал нюхать мокрый песок и опять забегал по арене, подняв голову и заглядывая в физиономии тысячи людей, которые свистели, бросали в быка апельсиновые корки и всячески ругали его. Запах крови заставил быка решиться, и он напал на кападора так неожиданно, что тот едва увернулся. Кападор набросил на быка свой плащ и спрятался за прикрытие; бык с треском ударился в стенку арены. Джон Харнед тихим голосом, как бы говоря сам с собой, произнес:

— Я пожертвую тысячу сукрэ на богадельню в Кито, если бык убьет сегодня человека...

— Вы любите быков? — улыбнувшись, спросила Мария Валенсуэла.

— Еще меньше я люблю таких людей, — ответил Джон Харнед. — Торeadор совсем не храбр, да он и не может быть храбрым. Смотрите, у быка уже высунулся язык, он измучен, а бой еще не начался!

— Это вода, — произнес Луис Сервальос.

— Да, это от воды, — подтвердил Джон Харнед. — Не лучше ли было бы подрезать быку поджилки перед тем, как выпустить?

Насмешка, прозвучавшая в словах Джона Харнеда, разозлила Марию Валенсуэлу. Но Луис Сервальос улыбнулся (так, что только я заметил это), и в ту минуту я окончательно понял, какую игру он затеял. Я и он были бандерильеры, а в ложе с нами сидел большой американский бык. Нам предстояло колоть его дротиками, пока он не придет в ярость, и тогда, пожалуй, не состоится его брак с Марией Валенсуэлой. Это была интересная игра, а в нас ведь текла кровь любителей боя быков!

Бык теперь окончательно рассвирепел, и кападорам пришлось немало повозиться с ним. Он быстро поворачивался, порою так неожиданно, что оступался задними ногами, взрывая копытами песок, но все время попадал на развевающийся плащ и не причинял людям вреда.

— У него нет шансов, — твердил Джон Харнед, — он сражается с ветром.

— Ему кажется, что враг — это плащ, — объяснила Мария Валенсуэла, — смотрите, как умно кападор дурачит его!

— В этом его природа — бывать одураченным, — отвечал Джон Харнед. — Поэтому-то он и обречен сражаться с ветром. Торeadоры знают это, публика знает, вы знаете, я знаю — мы все заранее знаем, что он вынужден сражаться с ветром. Он один не знает этого по своей глупости. У него нет шансов!

— Очень просто, — произнес Луис Сервальос. — Нападая, бык закрывает глаза, и поэтому...

— Человек отскакивает в сторону, а бык пробегает мимо? — перебил Джон Харнед.

— Да, — подтвердил Луи Сервальос, — именно так. Бык закрывает глаза, и человек знает это.

— А вот коровы не закрывают глаз, — сообщил Джон Харнед. — У нас дома есть джерсейская корова, — простая молочная корова; она хорошо расправилась бы с этой компанией.

— Но тореадоры не дерутся с коровами! — возразил я.

— Коров они боятся, — продолжал Джон Харнед.

— Да, — сказал Луис Сервальос, — они опасаются драться с коровами. Какая же была бы забава, если бы убивали тореадоров?

— Нет, было бы забавно, — ответил Джон Харнед, — если бы время от времени убивали тореадора. Когда я буду стариком и, пожалуй, калекой, и мне придется зарабатывать на жизнь, а тяжелым трудом я не могу заниматься, тогда я сделаюсь тореадором! Это легкое занятие для стариков и инвалидов!

— Да смотрите же! — воскликнула Мария Валенсуэла, наблюдая, как бык ловко бросился на кападора и тот отразил нападение, взмахнув плащом. — Для этого требуется большое искусство!

— Верно, — согласился Джон Харнед, — но, поверьте, надо быть тысячекратно искуснее, чтобы отразить многочисленные и быстрые удары боксера, у которого глаза открыты и который наносит удары с умом! Притом же — бык совсем не хочет драться, он убегает!

Это был плохой бык: он опять закружился по арене, ища спасения.

— Вот такие быки иногда бывают очень опасны, — заметил Луис Сервальос. — Никогда не знаешь, что они сделают в следующую минуту. Они умны, такие быки, они наполовину коровы. Тореадоры не любят их. Смотрите, он снова повернулся!

Бык, обозленный стеной, которая не выпускала его, проворно кинулся на своих врагов.

— У него уже язык висит! — воскликнул Джон Харнед. — Сперва его поят водой, а потом дразнят — то один, то другой, заставляя сражаться с ветром. Пока одни изматывают его, другие отдыхают, быку же не дают передышки, и когда он вконец измучен и еле двигается, матадор пронзает его своей шпагой.

Между тем наступила очередь бандерильеров. Три раза один из них пытался воткнуть быку бандерилью — и все три раза безуспешно: он только слегка поранил быка и привел его в ярость. Бандерильи (дротики) должны, как вы знаете, входить в тело по две сразу: у плеч, по обе стороны позвоночника и поближе к нему. Когда всажена только одна, это — неудача, толпа начала шикать, требовать Ордоньеса. И Ордоньес отличился на славу: он выбегал четыре раза — и все четыре раза с одного маху втыкал бандерильи, так что на спине быка их сразу

выросло восемь штук. Толпа обезумела от восторга, и на арену посыпались градом шляпы.

И в это мгновение бык неожиданно устремился на матадора; человек поскользнулся и растерялся. Бык подхватил его — к счастью, человек очутился между его раскинутыми рогами. И в то время как публика, затаив дыхание, молча смотрела на это зрелище, Джон Харнед поднялся и радостно заревел. Один среди общего безмолвия Джон Харнед ревел! Он радовался за быка! Вы сами видите, Джону Харнеду хотелось, чтобы был убит человек! Зверь сидел в его сердце. Его поведение возмутило сидевших в ложе генерала Салазара, и они начали кричать на Джона Харнеда. А Урсисино Кастильо стал обзывать его прямо в лицо собакой-гринго и другими обидными кличками. Однако они говорили по-испански, и Джон Харнед ничего не понял. Он стоял и вопил, может быть, десять секунд, пока быка не отвлекли на себя другие кападоры и упавший не поднялся невредимым.

— У быка ни единого шанса, — тоскливо проговорил Джон Харнед, садясь на место. — Человек остался невредим; они обманом отвлекли быка от врага! — Он повернулся к Марии Валенсуэле и произнес: — Простите, я погорячился!

Она улыбнулась и в знак укоризны хлопнула его веером по руке.

— Вы ведь в первый раз смотрите бой быков, — сказала она. — Когда вы посмотрите еще несколько раз, вы не станете радоваться смерти человека... Я вижу, вы, американцы, жестче нас. А все из-за вашего бокса! Мы ходим только смотреть, как убивают быка.

— Но мне хотелось бы, чтобы и у быка был шанс! — ответил он. — Вероятно, со временем меня перестанут возмущать люди, околпачивающие быка...

Опять раздались звуки труб. Ордоньес выступил вперед со шпагой и красным плащом; но бык, очевидно, раздумал и уже не хотел драться. Ордоньес топнул ногой, крикнул и взмахнул своим красным плащом; бык бросился на него, но довольно вяло, без всякого воодушевления. Ордоньес неудачно ударил, шпага встретила кость и погнулась. Ордоньес взял новую шпагу. Бык, вновь вынуждаемый к бою, бросился на противника. Пять раз Ордоньес пытался нанести удар, но каждый раз шпага проникала неглубоко или натыкалась на кость; в шестой раз шпага вошла по рукоятку — и опять неудачно: она

миновала сердце и насквозь прошла между ребер, высунувшись на пол-ярда из другого бока животного. Публика освистала матадора. Я посмотрел на Джона Харнеда: он сидел молча, без движения; но я видел, что зубы его крепко стиснуты, а руки впились в край ложи.

Бык потерял весь свой задор; удар был не смертелен, и он бегал прихрамывая: ему мешала шпага, торчавшая из тела. Он удирал от матадора и кападоров и кружился по арене, глядя на публику.

— Он говорит: «Ради Бога, выпустите меня отсюда; я не хочу драться!» — заметил Джон Харнед.

И все! Больше он ничего не сказал, а только смотрел на арену, временами косясь на Марию Валенсуэлу: как, мол, это ей нравится! А Марию возмущал матадор: он был неловок, а ей хотелось интересного зрелища!

Бык совсем выбился из сил и ослабел от потери крови, но все не умирал. Он медленно ходил по арене, ища выхода. Он не хотел больше драться, довольно с него! Но его нужно было убить. На шее быка, за рогами, есть место, где позвоночник не защищен, и его можно мгновенно убить легким ударом в это место. Ордоньес подошел к быку и спустил свой красный плащ до земли. Бык не тронулся с места. Он тихо стоял и обнюхивал плащ, нагнув голову, и в это время Ордоньес ударил его в незащищенное место на шее; но бык поднял голову, и шпага миновала цель. Бык стал следить за шпагой. Когда же Ордоньес спустил плащ на землю, бык забыл о шпаге и, нагнув голову, стал обнюхивать плащ. Опять Ордоньес ударил — и опять неудачно. Он попытался снова и снова — это просто делалось глупо! Джон Харнед безмолвствовал. Наконец удар попал в цель, бык повалился и умер; привязали мулов и потащили его с арены.

— Гринго находят этот спорт жестоким, не так ли? — спросил Луис Сервальос. — Это бесчеловечно, нехорошо для быка, да?

— Нет, — ответил Джон Харнед, — не в быке дело. Нехорошо для тех, кто смотрит, это унижительно для них. Это учит их радоваться мучениям животного. Только трусы могут впятером нападать на одного глупого быка. И те, кто смотрит, научаются трусости. Бык умирает, но зрители остаются и получают урок трусости. Храбрость мужей никогда не воспитывается сценами трусости!

Мария Валенсуэла не произнесла ни слова. Она даже не взглянула на Джона. Но она слышала каждое слово и побледнела от гнева. Она

смотрела на арену и обмахивалась веером. Но я видел, как дрожала ее рука. И Джон Харнед не смотрел на нее; он продолжал свое, как будто ее здесь не было. Он также был зол, холодно зол.

— Это трусливая забава трусливого народа! — проговорил он.

— А... — тихо спросил Сервальос, — вам кажется, что вы понимаете нас?

— Я понимаю теперь испанскую инквизицию, — ответил Джон Харнед. — Наверное, она была приятнее боя быков!

Луис Сервальос улыбнулся, но промолчал. Он посмотрел на Марию Валенсуэлу и понял, что бой быков в ложе выигран. Больше не будет она иметь дело с гринго, который произнес такие слова! Но ни я, ни Луи Сервальос не ожидали того, что произошло в этот день. Я боюсь, мы не понимаем гринго! Как могли мы знать, что Джон Харнед, который все время был холодно зол, вдруг сойдет с ума? А он действительно сошел с ума, как вы увидите: не в быке было дело — он сам так сказал. Но почему же дело в лошади? Этого я понять не могу! Джон Харнед лишен был логики. Вот единственное объяснение...

— В Кито не принято выводить лошадей на бой быков, — проговорил Луис Сервальос, отводя глаза от афиши. — В Испании лошади всегда выступают в боях. Но сегодня, по особому разрешению, мы их увидим. Когда появится следующий бык, выедут и пикадоры на конях — знаете, всадники с копьями, верхом на лошадях[5].

— Бык заранее обречен, — сказал Джон Харнед, — и лошади также обречены!

— Им завязывают глаза, чтобы они не видели быка, — объяснил Луис Сервальос. — Сколько их было убито на моих глазах! Превосходное зрелище!

— Я видел, как убивают быка, — произнес Джон Харнед. — Теперь я увижу, как будут убивать лошадей, и вполне могу оценить все тонкости этого благородного спорта...

— Это же старые лошади! — продолжал объяснять Луис Сервальос. — Они ни на что другое не годятся!

— Я понимаю, — ответил Джон Харнед.

Появился третий бык и немедленно был окружен кападорами и пикадорами. Один пикадор стал как раз под нами. Действительно, лошадь под ним была старая и худая — мешок костей, покрытый шелудивой кожей.

— Удивительно, как бедное животное выдерживает тяжесть своего седока! — произнес Джон Харнед. — А какое же оружие у лошади, раз она дерется с быком?

— Лошадь не дерется с быком, — ответил Луис Сервальос.

— О, — воскликнул Джон Харнед, — так лошадь здесь присутствует только для того, чтобы бык ее забодал?.. Так вот почему у нее завязаны глаза: чтобы она не видела быка, когда он подойдет бодать ее!

— Не совсем так, — сказал я. — Копье пикадора не даст быку забодать лошадь.

— Так что лошади редко гибнут? — нетерпеливо допытывался Джон Харнед.

— О нет, — ответил Луи Сервальос. — Раз на моих глазах в Севилье было убито восемнадцать лошадей в один день, публика шумела и требовала еще и еще!

— И они тоже были с завязанными глазами, как эта лошадь?

Луис Сервальос ответил утвердительно. Мы перестали разговаривать и устремили глаза на арену. Джон Харнед постепенно сходил с ума, а мы этого не замечали! Бык отказывался драться с лошастью, лошадь же стояла совершенно спокойно, она не видела, что кападоры натравляют на нее быка. Кападоры дразнили быка своими плащами, когда же он бросался на них, они прятались за лошадь и за прикрытия. Наконец бык достаточно рассвирепел и увидел перед собою лошадь.

— Лошадь не знает, лошадь не знает! — шептал Джон Харнед про себя, не замечая, что говорит вслух.

Бык бросился; лошадь, конечно, не знала ничего до тех пор, пока пикадор не промахнулся и она не очутилась на рогах у быка. Бык был необычайно силен, и зрелище получилось великолепное! Он высоко поднял лошадь на воздух, и когда она рухнула боком наземь, пикадор соскочил с нее и убежал, а другие пикадоры отвлекли быка от лошади. Внутренности вывалились из ее брюха, но она с визгом поднялась на ноги. Этот визг лошади переполнил чашу; он окончательно свел с ума Джона Харнеда, заставив и его подняться на ноги! Я слышал, как он чуть слышно, но скверно выругался. Он не спускал глаз с лошади, которая, не переставая визжать, пыталась побежать, но свалилась и

начала кататься на спине, лягая ногами воздух. И бык опять ударил ее и бодал до тех пор, пока она не издохла.

Джон Харнед выпрямился во весь свой рост; глаза его не были больше холодны, как сталь. В них пылал голубой огонь! Он смотрел на Марию Валенсуэлу, она на него — и на лице его было глубокое отвращение. Безумие овладело им! Все смотрели теперь на ложу, так как лошадь была уже мертва, а Джон Харнед был крупный человек, заметный издали.

— Сядьте, — произнес Луис Сервальос, — вы делаетесь посмешищем!

Джон Харнед ничего не ответил, он только сжал кулак и ударил Луиса Сервальоса по лицу так, что тот, как мертвый, упал на стулья и не поднялся больше. Он не видел дальнейшего — зато я видел много: Урсисино Кастильо перегнулся из своей ложи и ударил палкой Джона Харнеда прямо по лицу, а Джон Харнед хватил его кулаком с такой силой, что тот, падая, опрокинул генерала Салазара! Джон Харнед был теперь в настоящем исступлении. Первобытный зверь, спавший в нем, вырвался на свободу и ревел — первобытный пещерный дикарь отдаленных веков.

— Вы пришли на бой быков? — услышал я. — Так, клянусь Богом, покажу же я вам бой людей!

И был бой! Солдаты, охранявшие президентскую ложу, перескочили через барьер, но Джон Харнед выхватил у одного из них винтовку и начал колотить их по головам! Из другой ложи полковник Хасинто Фьерро стал палить в него из револьвера. Первый выстрел убил солдата; это я хорошо увидел. Второй попал Джону Харнеду в бок. Он выругался и всадил штык в полковника Хасинто Фьерро. Жуткое зрелище! Американцы и англичане зверски жестоки. Они высмеивают наш бой быков, а сами находят удовольствие в пролитии крови! Много людей было убито в тот день из-за Джона Харнеда, гораздо больше, чем за все время существования боя быков в Кито, в Гуаякиле и даже во всем Эквадоре!

И все это наделал визг раненой лошади! Почему Джон Харнед не сошел с ума, когда убили быка? Животное — только животное, будь это бык или лошадь. Джон Харнед сошел с ума, другого объяснения нет. Он был сумасшедший, он был зверь. Судите сами, что хуже: то, что бык забодал лошадь, или что Джон Харнед штыком заколол

полковника Хасинто Фьерро? Джон Харнед заколол и других. Бес в него вселился. Пронизанный пулями, он продолжал драться, и не легко удалось убить его. Мария Валенсуэла проявила мужество. Она не вскрикнула и не упала в обморок, как сделала бы другая женщина. Она спокойно сидела в ложе и смотрела на арену. Лицо ее побелело, она обмахивалась веером, но не оглядывалась.

Кінець безкоштовного уривку. Щоби читати далі, придбайте, будь ласка, повну версію книги.

ridmi
ТВІЙ УЛЮБЛЕНИЙ КНИЖКОВИЙ

КУПИТИ